

Юрий  
Безелянский

ОТЕЧЕСТВО.

ДЫМ.

ЭМИГРАЦИЯ

Русские поэты и писатели  
вне России

Книга первая



**Юрий Николаевич Безелянский**  
**Отечество. Дым. Эмиграция.**  
**Русские поэты и писатели**  
**вне России. Книга первая**  
Серия «Русские поэты и  
писатели вне России», книга 1

*Текст предоставлен правообладателем*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=28988239](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=28988239)*

*Отечество. Дым. Эмиграция. Русские поэты и писатели вне России.  
Книга первая / Юрий Безелянский: У Никитских ворот; Москва; 2017  
ISBN 978-5-00095-394-5*

### **Аннотация**

Книга носит универсальный, разножанровый характер, можно даже сказать, что это – информационно-художественное издание. Не только рассказ о трудностях, проблемах и ностальгии эмиграции, но и повествование о судьбе эмигрантов, о том, как устроились они на чужбине, как приспособивались к новым условиям, что писали и как тосковали по утраченной родине. Вместе с тем книга представляет собой некую смесь справочника имен, антологии замечательных стихов, собрания интересных фрагментов из писем, воспоминаний и мемуаров русских

беженцев. Параллельно эхом идут события, происходящие в Советском Союзе, что создает определенную историческую атмосферу двух миров. Книга предназначена для тех, кто хочет полнее и глубже узнать историю России и русских за рубежом и, конечно, литературы русского зарубежья.

# Содержание

Золотая и горькая эмиграция	5
1. Первый ряд литераторов-эмигрантов	12
Счастливые, беспокойные и окаянные дни Ивана Бунина	13
Мережковский как пророк грядущего Хама	30
Неистовая и загадочная Зинаида Гиппиус	41
Вячеслав Иванов – одна из вершин русской культуры	52
Бальмонт – поэт от рождения	63
Куприн: белый поручик, писатель, эмигрант, возвращенец	75
Конец ознакомительного фрагмента.	81

# Юрий Безелянский Отечество. Дым. Эмиграция. Русские поэты и писатели вне России. Книга первая

## Золотая и горькая эмиграция

Итак, книга об эмиграции. Сначала определение из Энциклопедического словаря 1955 года:

«Эмиграция, вынужденное или добровольное перемещение населения из своего отечества в др. страну по политич., экономич., религиозным и пр. причинам. В эпоху капитализма Э. обуславливается гл. обр. наличием армии безработных и полубезработных, различиями в уровне зарплаты в отдельных странах и т. д.».

Коротко и научно. А в период социализма? Или до него, в огненную пучину революции? Об этом ни слова, как будто тогда люди не бежали сами из России из-за боязни смерти и репрессий или, как позднее, их насильно не депортировали из страны. Хочешь или не хочешь? Вон из СССР в объятия

чужой бабы Эмиграции... Эх, лукавые советские энциклопедии. Власть не хотела педалировать вопрос об эмиграции. Игнорировала ее. А после революции шла гражданская братоубийственная война, и Маяковский похвалялся:

Серые шлемы с красной звездой  
Белой ораве крикнули: стой!  
Били Деникина, били Махно, —  
Так же любого с дороги смахнем...

И били, и убивали «белую ораву», белую гвардию. И слово «белогвардеец» означало одно понятие: чужой человек, враг...

Хрустнул, проломанный, Крыма хребет.  
Красная крепла в громе побед...

Все тот же Владимир Владимирович.

А белые, спасаясь от смерти, садились на корабли и плыли в неизвестную даль, на чужбину. Уезжали, уплывали их жены, дети, близкие... И все они стали эмигрантами в разных чужих странах. Сколько их было? Точно неизвестно. По некоторым подсчетам, более 2 миллионов подданных России покинули родину после революции 1917 года. Так называемая первая волна эмиграции. А за ней вторая, третья...

Откроем Большую книгу афоризмов (2000):

– Эмиграция – это похороны, после которых жизнь про-

должается дальше (*Тадеуш Котарбиньский*, польский философ).

– Нельзя унести родину на подошвах своих сапог (*Жорж Дантон* перед арестом, в ответ на предложение бежать из Франции).

– Можно убежать из отечества, но нельзя убежать от самого себя (*Гораций*, римский поэт до н. э.).

– Эмиграция – капля крови нации, взятая на анализ (*Мария Розанова*, жена Андрея Синявского, эмигрантка).

После афоризмов просится, нет, громко стучится хрестоматийная «Тоска по родине» Марины Цветаевой:

Тоска по родине! Давно  
Разоблаченная морока!  
Мне совершенно всё равно —  
Где совершенно одинокой

Быть, по каким камням домой  
Брести с кошелкою базарной  
В дом, и не знающий, что – мой,  
Как госпиталь или казарма...

...Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст,  
И всё – равно, и всё – едино.  
Но если по дороге – куст  
Встает, особенно – рябина...

Всё это так и всё так немного литературно. А сама жизнь

всегда грубее и страшнее. И обыденнее. Достаточно открыть воспоминания Георгия Иванова «Петербургские зимы»: как жили в России, и что толкнуло некоторых решиться на эмиграцию. Вот первые две страницы Георгия Иванова о том времени:

«Говорят, тонущий в последнюю минуту забывает страх, перестает задыхаться. Ему вдруг становится легко, свободно, блаженно. И, теряя сознание, он идет на дно, улыбаясь.

К 1920 году Петербург тонул уже блаженно.

Голода боялись, пока он не установился “всерьез и надолго”. Тогда его перестали замечать. Перестали замечать и расстрелы.

– Ну, как вы дошли вчера, после балета?..

– Ничего, спасибо. Шубы не сняли. Пришлось, впрочем, померзнуть с полчаса на дворе. Был обыск в восьмом номере. Пока не кончили – не пускали на лестницу.

– Взяли кого-нибудь?

– Молодого Перфильева и еще студента какого-то, у него ночевал.

– Расстреляют, должно быть?

– Должно быть...

– А Спесивцева была восхитительна...

– Да, но до Карсавиной ей далеко.

– Ну, Петр Петрович, заходите к нам...

Два обывателя встретились, заговорили о житейских мелочах и разошлись. Балет... шуба... молодого Перфильева

и еще студента... А у нас в кооперативе выдавали сегодня селедку... Расстреляют, должно быть...

Два гражданина Северной Коммуны беседуют об обыденном.

Гражданина окликает гражданин:

Что сегодня, гражданин, на обед?  
Прикреплялись, гражданин, или нет?..

И не по бессердечию беседуют так спокойно, а по привычке.

Да и шансы равны – сегодня студента, завтра вас.

Я сегодня, гражданин, плохо спал —  
Душу я на керосин променял.

Об этом беспокоились еще: как бы не променять душу “на керосин” без остатка. И – кто устраивал заговоры, кто молился, кто шел через весь город, расползающийся в оттепели или обледенелый, чтобы увидеть, как под нежный гром музыки, в лунном сиянии, на фоне шелестящих, пышных бумажных роз – выпорхнет Жизель, вечная любовь, ангел во плоти...

Поглядеть, вздохнуть, потом обратно ночью через весь город.

Над кострами искры золотятся,

Над Невою полыньи дымятся,  
И шальная пуля над Невою  
Ищет сердце бедное твое...

Ну, может быть, сегодня еще до моего не доберется. Чего там!»

\* \* \*

Многие остались на родине. Приспособились, выжили в новой советской России. Помните комедию с элементами драмы «Мандат» Николая Эрдмана?

Маменька спрашивает сына:

– Как же теперь честному человеку на свете жить?

– Лавировать, маменька, надобно лавировать, – отвечает Павлуша Гулячкин.

И лавировали, да еще как! Примеров тьма: Брюсов, Маяковский, Городецкий, Демьян Бедный и т. д. Лавируя, скрывая свои истинные чувства и мысли. Об этом в книге кое-что будет сказано. Но в основном она об эмиграции: как покидали Россию, что чувствовали, писали, как жили вдали от Родины.

В эту книгу, которую вы держите в руках и, может быть, даже намерены прочитать, включены далеко не все звучные имена русской эмиграции. Сознательно, из-за объема, не включены многие профессии: ученые, инженеры, физи-

ки, химики, политики, композиторы, музыканты, архитекторы, художники, актеры, режиссеры и т. д. Так что не представлены многие славные личности: Шаляпин, Дягилев, Шагал, Стравинский, Рахманинов, Зворыкин, Сикорский, Милюков, Михаил Чехов, Яша Хейфец и т. д.

Только литераторы: поэты, прозаики, драматурги, публицисты, сатирики и прочие, сочинявшие и писавшие. Им особенно было трудно вписаться в чужую жизнь, ибо их ремеслом был русский язык. Русская языковая среда, и поэтому они в эмиграции оказались некоей замкнутой кастой, их читали только свои, беженцы из России.

Существует множество классификаций литераторов. По одной из них выделены крупные персоны, составившие ядро русской зарубежной литературы. Это – Бунин, Мережковский, Зинаида Гиппиус, Вячеслав Иванов, Ходасевич, Бальмонт, Цветаева, Тэффи, Ремизов, Шмелев, Куприн, Алданов, Адамович, Георгий Иванов... Можно сказать, классики первого ряда. О них и поведем речь, только вот Тэффи переведена в разряд сатириков и юмористов.

И, конечно, начнем с главного классика, лауреата Нобелевской премии Ивана Бунина.

# 1. Первый ряд литераторов-эмигрантов

## 1 | первый ряд ЛИТЕРАТОРОВ- ЭМИГРАНТОВ



# Счастливые, беспокойные и окаянные дни Ивана Бунина

*Я не люблю, о Русь, твоей несмелой  
Тысячелетней рабской нищеты.  
О, этот крест и этот ковшик белый...  
Смиренные, родимые черты!*

*И. Бунин, 1905*

**Иван Алексеевич Бунин** (1870, Воронеж – 1953, Париж).

Поэт, прозаик, переводчик. О Бунине написаны горы книг, статей и воспоминаний. Слегка прикоснулся к жизни Бунина и я, грешный. В книге «99 имен Серебряного века» Иван Алексеевич представлен небольшим очерком-эссе, перепечатаваю его с некоторыми сокращениями, в частности, отсекая всех бунинских женщин, ведь основная тема не они в «Темных аллеях», а эмиграция... И так...

Советские критики прозвали Брюсова «великолепным пришельцем с чужих берегов», а Бунин при жизни так и остался на чужом берегу. Он клокотал ненавистью к «Совдепии», отвергал новую действительность как «окаянные дни», как «великий дурман» (как он выразился в докладе, прочитанном им в деникинской Одессе), поэтому в стране Советов

Бунину приклеили ярлык злого антисоветчика, «певца дворянских могил», и утверждали, что «в произведениях эмигрантского периода сказался явный упадок художественного таланта писателя» (Энциклопедический словарь, 1953). После смерти Ивана Алексеевича его приняли в семью советской и русской литературы. И даже со временем стали печатать то, что не печатали прежде по идеологическим соображениям, например одно из стихотворений, написанных Буниным в июле 1922 года.

... А если б даже Божья сила  
И помогла, осуществила  
Надежды наших темных душ,  
То что с того?  
Уж нет возврата  
К тому, чем жили мы когда-то.  
Потерь не счесть, не позабыть,  
Пощечин от солдат Пилата  
Ничем не смыть – и не простить,  
Как не простить ни мук, ни крови,  
Ни содроганий на кресте  
Всех убиенных во Христе,  
Как не принять грядущей нови  
В ее отвратной наготе.

В 1912 году вышла повесть «Суходол» о процессе распада родовых устоев в России, до этого – «Деревня» – о русской душе со всеми ее светлыми и темными сторонами. В

повести «Деревня» уездный вольнодумец и чудак старик Балабашкин в споре кричал:

«Боже милостивый! Пушкина убили, Лермонтова убили, Писарева утопили, Рылеева удавили... Достоевского к расстрелу таскали, Гоголя с ума свели... А Шевченко? А Полежаев? Скажешь, правительство виновато? Да ведь по холопу и барин, по Сеньке и шапка. Ох, да есть ли еще такая сторона в мире, такой народ, будь он трижды проклят?..»

В «Суходоле» крестьянка убеждена в том, что «у господ было в характере то же, что и у холопов: или властвовать, или бояться».

В 1902–1909 годах вышло первое собрание сочинений в 5 томах. Бунин – признанный и почитаемый талант.

Стиль Бунина отличается от многих: он аристократичен, сдержан, строг. Никакой фальши, никаких декадентских вывертов. «На фоне русского модернизма поэзия Бунина выделяется как хорошее старое, – отмечал в «Силуэтах русских писателей» Юлий Айхенвальд, – она продолжает вечную пушкинскую традицию и в своих чистых и строгих очертаниях дает образец благородства и простоты... Его строки – испытанного старинного чекана; его почерк – самый четкий в современной литературе; его рисунок – сжатый и сосредоточенный. Бунин черпает из невозмущенного Кастальского ключа».

Из множества прекрасных бунинских стихов приведем одно:

О счастье мы всегда лишь вспоминаем.  
А счастье всюду. Может быть, оно —  
Вот этот сад осенний за сараем  
И чистый воздух, льющийся в окно.

В бездонном небе легким белым краем  
Встает, сияет облако. Давно  
Слежу за ним... Мы мало видим, знаем,  
А счастье только знающим дано.

Окно открыто. Пискнула и села  
На подоконник птичка. И от книг  
Усталый взгляд я отвожу на миг.

День вечереет, небо опустело.  
Гул молотилки слышен на гумне...  
Я вижу, слышу, счастлив. Всё во мне.

Как утверждают буниноведы, писатель жаждал солнца, счастья, красоты, но полной мерой принял пустынный хлад одиночества, не зная своей посмертной славы на родной земле, под родными звездами.

В жизни Бунина сыграли определенную роль два писателя – Максим Горький и Лев Толстой. На первых порах Горький помогал Бунину, считая его «первым писателем на Руси». В ответ Бунин посвятил Горькому поэму «Листопад», хотя, потом признался, что посвятил по его, Горького, «бес-

стыдной просьбе». Они разошлись, потому что были слишком разные люди: Горький – человек высокого общественного темперамента и при этом умеющий приспособляться к обстоятельствам и идти на компромиссы. Бунин – не общественный человек и к тому же бескомпромиссный и гордый.

Льва Толстого Бунин почитал божеством. И бесконечно сравнивал себя с ним. И всегда помнил слова Толстого, сказанные ему: «Не ждите многого от жизни... счастья в жизни нет, есть только зарницы его – цените их, живите ими...». На столе умирающего Бунина лежал томик Толстого. Он перечитывал «Войну и мир» пятьдесят раз...

Возвращаясь к биографии Бунина, отметим, что он встретил Февраль и особенно Октябрь с резкой враждебностью. Из революционного Петрограда, избегая «жуткой близости врага», Бунин уехал в Москву, а оттуда 21 мая 1918 года в Одессу, где был написан дневник «Окаянные дни» – одно из самых яростных обличений революции и власти большевиков.

Приведем лишь один отрывок из него, день 25 апреля 1919 года (в сокращении):

«...И какой ужас берет, когда подумаешь, сколько народу теперь ходит в одежде, содранной с убитых, с трупов!

А в красноармейцах главное – распушенность. В зубах папироска, глаза мутные, наглые, картуз на затылок, на лоб падает “шевелюр”. Одеты в какую-то сборную рвань. Иногда мундир 70-х годов, иногда, ни с того ни с сего, красные рей-

тузы и при этом пехотная шинель и громадная старозаветная сабля.

Часовые стоят у реквизированных домов в комнатах, в креслах в самых изломанных позах. Иногда сидит просто босяк, на поясе браунинг, с одного боку висит немецкий тесак, с другого кинжал.

Возвратясь домой, пересмотрел давно валявшуюся у меня лубочную книжечку: “Библиотека трудового народа. Песня народного гнева. Одесса. 1917 г.” Да, это и тут есть:

Кровью народной залитые троны  
Мы кровью наших врагов обагрим,  
Мсть беспощадная всем супостатам,  
Смерть паразитам тудящихся масс!

Есть “Рабочая Марсельеза”, “Варшавянка”, “Интернационал”, “Народовольческий гимн”, “Красное знамя”.. И все злобно, кроваво донельзя, убого до невероятия:

– Мы пошлем всем злодеям проклятье,  
На борьбу всех борцов позовем...  
Вихри враждебные веют над нами...  
Но мы поднимем гордо и смело  
Знамя борьбы за рабочее дело...

– Мы в плуги меч перекуем  
И новой жизнью заживем...

Боже мой, что это вообще было! Какое страшное противоестественное дело делалось над целыми поколениями...»

Бунин пытался вразумить жителей России:

Народ мой! На погибель  
Вели тебя твои поводыри...

Народ не внял и слепо пошел за поводырями.

Большевики, по мнению Бунина, – «висельники, разорившие богатейшую в мире страну и уморившие голодом буквально десятки миллионов русских». А Ленин – «нравственный идиот от рождения».

В Советском Союзе не остались в долгу и навешали на Бунина свои ярлыки: «космополит и изменник, прославлял интервенцию», а его художественные писания проникнуты «пессимизмом», «мелочны по тематике».

26 января 1920 года на пароходе «Спарта» Бунин отплыл в Константинополь и в конце марта прибыл в Париж. Началась эмиграция.

Пути Бунина и СССР кардинально разошлись, и лишь после его смерти на Втором съезде советских писателей под овации зала Бунина приняли в советскую литературу.

Случай с Буниным особый. Эмиграция для него стала предельной высотой его писательской карьеры. Здесь, на Западе, он впервые почувствовал себя классиком и защитником традиций классической литературы. И это несмотря и

вопреки тяжелым условиям жизни в чужой стране. В старинном прованском городке Грассе, на родине художника Фрагонара, прожил Бунин более 21 года: 16 лет на вилле «Бельведер» и 5 лет – на вилле «Жаннет». В Грассе Бунин много работал. Там он написал «Жизнь Арсеньева», «Митину любовь», серию рассказов и книгу прозы «Темные аллеи».

Свое шестидесятилетие Бунин отметил публикацией самого крупного своего произведения – романа «Жизнь Арсеньева», метко названного кем-то «вымышленной биографией». Там все достоверно и вместе с тем волшебно преображено. Георгий Адамович сказал, что «Жизнь Арсеньева» напоминает ему «монолог человека перед лицом судьбы и Бога». И конечно, в «Жизни Арсеньева» фигурирует Россия, «погибшая на наших глазах в такой волшебной короткий срок».

Очарованный «Жизнью Арсеньева» Константин Паустовский писал: «Это не биография. Это – слиток из всех земных очарований, горестей, размышлений и радостей. Это – удивительный свод событий одной-единственной человеческой жизни».

В ноябре 1933 года Бунину была присуждена Нобелевская премия «за правильный артистический талант, с которым он воссоздал в литературной прозе русский характер». А хранитель библиотеки Шведской академии Оке Эрландссон сказал: «Премия Бунина была извинением перед русской литературой за Льва Толстого».

В 1934–1936 годах в Берлине издавалось новое собрание

сочинений Бунина. В 1937 году писатель завершил фило-софско-художественную книгу «Освобождение Толстого». А потом – война, старость. 30 марта 1943 года Иван Алексе-евич писал в одном из писем:

«Живу, конечно, очень, очень плохо – одиночество, го-лод, холод и страшная бедность – все, что осталось от пре-мии, блокировано, и все мои сношения с издателями теперь уже совершенно прерваны... Дни протекают в великом од-нообразии, в слабости и безделии... Много читаю – все, что под руку попадется... Больше же всего думаю – очень, очень грустно...»

В конце жизни, после войны, у Бунина был выбор – вер-нуться на родину (его звали и сулили золотые горы) или уехать в Америку, где было бы сытно и вольготно. Бунин, од-нако, остался во Франции, в неуюте и в безденежье. Одному из корреспондентов на вопрос «почему?» писатель ответил: «Литературной проституцией никогда не занимался».

В последние месяцы Бунина одолевали мысли «о про-шлом, о прошлом думаешь... об утерянном, пропущенном, счастливом, неоцененном, о непоправимых поступках сво-их... не дальновидности...».

В декабре 1999 года Лидским университетом в Англии из-дан каталог архивов Буниных и их друзей. Фонд самого Ива-на Алексеевича состоит из 10 763 единиц хранения. А это – сотни стихотворений, более 120 рассказов, статьи, воспоми-нания, дневники и письма. Так что еще изучать и изучать.

...Раскрыв глаза, гляжу на белый свет  
И слышу сердца ровное биенье,  
И этих строк размеренное пенье,  
И мыслимую музыку планет.  
Всё – ритм и бег. Бесцельное стремленье!  
Но страшен миг, когда стремленья нет.

Это, правда, изданный Бунин. Стихотворение помечено днем 9 августа 1912 года. Бунину 42 года.

\* \* \*

Современники по-разному воспринимали Бунина.

«Высокий, стройный, с тонким умным лицом, всегда хорошо и строго одетый... много читавший и думающий, очень наблюдательный... Это был человек, что называется – непоседа. Его всегда тянуло куда-нибудь уехать. Подолгу он задерживался у себя на родине, в Орловской губернии, в Москве, в Одессе и Ялте, а то из года в год бродил по свету и писал мне из Константинополя, то из Парижа, из Палестины, с Кипра, с острова Цейлон... Работать он мог очень много и долго... не ест, не пьет, только работает...» (Н. Телешов. *Записки писателя*).

По вечерам и в особенности ночью он никогда не писал.

«Поразительно было в Бунине то, что мне приходилось наблюдать у некоторых других крупных художников: со-

единение совершенно паршивого человека с непоколебимо честным взыскательным к себе художником... Он был очарователен с высшими, по-товарищески мил с равными, надменен и резок с низшими, начинающими писателями... Был капризен и привередлив, как истерическая красавица» (*В. Вересаев. Литературные воспоминания*).

«Характер у него был тяжелый, домашний деспотизм он переносил в литературу. Он не то что раздражался и сердился, он приходил в бешенство и ярость, когда кто-нибудь говорил, что он похож на Толстого или Лермонтова. Сам возражал на это большей нелепицей... Часто бешенство его переходило внезапно в комизм, в этом была одна из самых милых его черт: – Убью! Задушу! Молчать! Из Гоголя я!» (*Н. Берберова. Курсив мой*).

«Желчный такой, сухопарый, как выпитый, с темно-зелеными пятнами вокруг глаз, с заостренным и клювистым, как у стервятника, профилем, с прядью спадающих темных волос, с темно-русой испанской бородкой... и брюзжит, и косятся на нас, декадентов...» (*Андрей Белый. Начало века*).

Очень интересны воспоминания Андрея Седых «Далекие, близкие» о Бунине, у которого он работал литературным секретарем.

«В Германии по дороге в Стокгольм в руках Бунина газета с его портретом.

Бунин хватается за голову.

– Милый, посмотрите на фотографию: опять это громад-

ное, испуганное, бледное лицо.

– Ничего не испуганное. Лицо римлянина периода упадка Империи.

Когда в Стокгольме прохожие оглядывались на Бунина, он возмущался:

– Что такое? Совершенный успех тенора!»

10 декабря 1933 года Бунин вошел в концертный зал в годовщину смерти Альфреда Нобеля, «какой-то особенно бледный, медлительный и торжественный... Шведская академия присудила Нобелевскую премию не Горькому, а Бунину. Это была своего рода декларация независимости, провозглашение торжества духовной свободы».

Нобелевскую премию русская эмиграция восприняла как свой триумф. На церемонии Бунин сказал, что впервые премия присуждена изгнаннику, за которым не стоит его страна. Ну а в советской стране устами своих дипломатов резко протестовали против вручения премии «белогвардейцу».

Премия – 150 тысяч франков. Часть денег Бунин раздал через специально созданный комитет нуждающимся коллегам-писателям. Нобелевские деньги быстро испарились, а тут еще вскоре разразилась Вторая мировая война, и в Грассе нобелевскому лауреату пришлось нелегко – почти голодать. «Мерзлую картошку едим. Или водичку, в которой плавает что-то мерзкое, морковка какая-нибудь. Это называется супом...» – записывал Бунин.

В годы оккупации в Грассе Бунин спас от гестапо трех

скрывающихся евреев, которых прятал на вилле «Жаннет»: литературного критика Александра Барраха, пианиста Александра Либермана и его жену Стефанию. Маленький подвиг Бунина...

После войны к Бунину зачастили визитеры из СССР (в том числе приезжал и Константин Симонов), уговаривающие Бунина вернуться на родину. Привозили дефицитные продукты (гастрономическая операция советских спецслужб), обещали царские условия в Союзе. Хотели купить Бунина, но он не поддался ни на какие посулы и уговоры. К тому же был раздражен тем, что в Москве его начали печатать без согласования с ним и без всякого гонорара.

А первым переговорщиком Бунина был Алексей Толстой. Андрей Седых вспоминал, как в 1936 году в кафе на Монпарнасе «Бунин просидел с Толстым весь вечер. “Алешка” расточал комплименты и звал вернуться в Москву:

– По твоим, брат, книгам учатся все молодые советские писатели... Да тебя примут с триумфом...

Бунин слушал, улыбался и, как всегда, когда не знал, как ответить, немного иронически говорил:

– Мерси. Мерси!»

Прошли две или три недели. В «Литературной газете» появились заграничные впечатления Алексея Толстого. Писал он примерно так: «Встретил случайно Бунина. Он был этой встрече рад. Прочел я его последние книги. Боже, что стало с этим когда-то талантливым писателем! От него осталось

только имя, какая-то кожура» и т. д.

Дальше следовали еще строк двадцать в таком же духе.

Очень чувствительного Ивана Алексеевича эти впечатления не могли оставить равнодушным. Думаю, именно тогда и родилась у него мысль написать «Третьего Толстого», которую осуществил он только пятнадцать лет спустя. Но, как говорят французы, *la vengeance est un plat qui se mange froid* («Мсть – это блюдо, которое надо есть холодным»).

В ненавистную «Совдепию» Бунин не захотел возвращаться. Он привык к Парижу и к Грассу. И не был одинок, в его ближайшее литературное окружение входили Тэффи, Борис Зайцев, Алданов, Степун, Лев Шестов, а также его «студийцы»: Галина Кузнецова (последняя любовь Бунина) и Зуров. К ним у Бунина была приятнь, а неприятнь, антипатию испытывал он к Мережковскому, Зинаиде Гиппиус, Шмелеву, Марине Цветаевой, а имена Максима Горького, Леонида Андреева, Блока, Брюсова порождали у него, по свидетельству современника, поток брани.

В конце жизни Бунин выпустил книгу «Воспоминания» (1950), в которой на прощанье решил откровенно сказать, что думает о некоторых своих коллегам по перу.

«У Буниных, на рю Жак Оффенбах, обычно собирались писатели, журналисты и поэты, – выпить чашку чаю, послушать новое произведение собрата и просто посудачить.

На одном из четвергов Бунин прочел нам главу из своих «Воспоминаний». Был он превосходным чтецом, но на этот

раз быстро устал, – он был уже совсем болен, вышел к гостям в халате и весь вечер сидел в кресле, прикрытый пледом. Когда он кончил читать, в комнате наступило неловкое молчание... Н.А. Тэффи принялась что-то торопливо искать в своей сумочке. Г.В. Адамович сидел с красным от волнения лицом, – многих из тех, о ком говорил Бунин, он знал лично и расценивал их совсем иначе. Иван Алексеевич поглядел вокруг, понял и обиделся.

Чтобы выйти из неловкого положения, я шутиливо сказал: – Ну и добрый же вы человек, Иван Алексеевич! Всех обласкали» (*Андрей Седых. Далекое, близкое*).

В 40-50-е годы Бунин в длинных письмах к Седых жаловался на недоедание, болезни, на страшную дороговизну и полное отсутствие денег. С 1947 года и до конца жизни Бунина приходилось в частном порядке собирать для него деньги среди богатых людей. Взамен они получали книгу с автографом писателя, вспоминал Седых.

В одном из писем к своему молодому «спасителю»: «Я сед, худ, сух, но еще ядовит...»

«...Непоколебимо одно: наша твердая вера, что Россия, породившая Пушкина, все же не может погибнуть, измениться в вечных основах своих и что воистину не одолеют ее до конца силы адовы» (21 июня 1949 года).

«...мне пошел 79-й год, и я так нищ, что совершенно не знаю, как и чем буду существовать...».

О своем юбилее Бунин сообщал в письме так: «...мое 80-

летие вышло просто замечательно! “Визгу было много, а щетины – на грош!” – как говорили на ярмарке про свиней самой низкой породы...»

В переписке с Андреем Седых (Бунин звал его «милый Яшенька») много жалостливых строк Ивана Алексеевича о своей «позорной старости» и о том, что «начинаю подумывать об Америке! Серьезно! Можно ли жить где-нибудь недалеко от Нью-Йорка» (апрель 1949 года).

Последняя встреча Седых с Буниным в декабре 1951 года, когда Иван Алексеевич уже не покидал постели... «Полумрак, и стоял тяжкий запах, какой бывает в комнатах больных, боящихся открытых окон, – сложный запах лекарств, крепкого турецкого табака и немощного, старческого тела...

Все же я быстро убедился, что при ужасающей физической слабости, при почти полной беспомощности голова его работала превосходно, мысли были свежие, острые, злые... Зол он был на весь свет – сердился на старость, на болезнь, на безденежье, – ему казалось, что все его хотят оскорбить и что он окружен врагами. Поразила меня фраза, брошенная им вдруг, без всякой связи с предыдущим.

– Вот, я скоро умру, – сказал он, понизив голос почти до шепота, – и вы увидите: Вера Николаевна напишет заново “Жизнь Арсеньева”.

Понял я его много позже, когда уже после смерти мужа Вера Николаевна выпустила свою книгу “Жизнь Бунина” (Андрей Седых. *Далекие, близкие*).

8 ноября 1953 года Иван Бунин скончался в возрасте 83 лет. Похоронен на русском кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем.

Бунин хотел, чтобы его сожгли, но сделал уступку жене, и его похоронили в земле. Вера Николаевна вложила в руку покойного маленький деревянный крестик. После смерти нобелевского лауреата в доме осталось всего 8 тысяч франков. Почти мелочь...

«День был чудесный, – писала Муромцева о дне похорон, – и когда мы ехали уже мимо лесов, то вспоминалось: “Лес точно терем расписной, лиловый, золотой, багряный...” И меня как-то успокоило, что это осенью, в такой солнечный день, какой он особенно любил...»

А закончим наш короткий рассказ словами героя рассказа «Темные аллеи», обращенными к его бывшей возлюбленной:

«Всё проходит, мой друг, – пробормотал он. – Любовь, молодость – всё, всё. История пошлая, обыкновенная. С годами всё проходит. Как это сказано в книге Иова: «Как о воде протекшей будешь вспоминать».

А мы будем помнить об Иване Алексеевиче Бунине.

# Мережковский как пророк грядущего Хама

Дмитрий Сергеевич Мережковский (1865, Петербург -1941, Париж). Прозаик, поэт, драматург, философ, литературный критик. Муж Зинаиды Гиппиус. Сложная фигура по жизни и творчеству, поэтому рассказ о нем лучше начать с внешнего вида.

«Маленький, щупленький, как былиночка (сквознячок пробежит – унесет его), поражал он особой матовостью белого, зеленоватого иконописного лика, провалами щек, оттененных огромнейшим носом и скулами... строгие, выпуклые, водянистые очи, прилизанные волосики рисовали в нем постника, чувственно вспухшие губы... ручки белейшие, как у девочки... оранжерейный, утонченный, маленький попик...» – так карикатурно представлял Мережковского Андрей Белый в начале XX века.

А вот без карикатурных черт: «Приходилось слышать Мережковского в Москве на выступлениях. В Историческом музее маленькая его фигурка перед огромной аудиторией наполняла огромным своим голосом все вокруг. Говорил он превосходно, ярко и полупророчественно... Слабость Мережковского – его высокомерие и брезгливость (то же и у Гиппиус). Они не кричали – вперед на бой, в борьбу со тьмой, – было много сложнее и труднее, но и обращенности

к “малым сим”, какого-либо привета, душевной теплоты и света в них очень уж было мало...» (*Борис Зайцев. Мои современники*).

В своей книге о муже Зинаида Гиппиус отмечала, что «только наша бедность (да, бедность, это был русский и европейский писатель, проживший всю жизнь и ее кончивший – в крайней бедности) не позволила ему поехать в Египет, когда этого требовала работа, и на остров Крит... Он работал только дома. В своем скромном кабинете, в Париже. Ему, конечно, помогало прекрасное знание языков, древних, как и новых. Для меня удивительная черта в его характере – было полное отсутствие лени. Он, кажется, даже не понимал, что это такое...»

В мемуарах «Человек и время» Мариэтта Шагинян вспоминает о Мережковском, что это был сухонький, невысокого роста, черноглазый брюнет с бородкой клинышком, очень нервный, всегда мысленно чем-то занятый, рассеянно-добрый, но постоянно в быту как-то капризно-недовольный. Преувеличенно ценил свои книги. Они казались ему пророческими.

Внесем поправку в характеристику, данную Шагинян: Мережковский был не в быте, а над бытом, который его вовсе не интересовал, он парил в эмпиреях.

Я людям чужд, я мало верю  
И добродетели земной;

Иною мерой жизнь я мерю,  
Иной, бесцельной красотой.

Я верю только в голубую  
Недосягаемую твердь,  
Всегда единую, простую  
И непонятную, как смерть.

О небо, дай мне быть прекрасным,  
К земле сходящим с высоты,  
И лучезарным, и бесстрастным,  
И всеобъемлющим, как ты.

Это стихотворение «Голубое небо» написано Мережковским в 1894 году.

Поначалу Мережковский – поэт, и даже популярный. Поэт-нищсеанец с русской добавкой:

Мне страшен долг, любовь моя тревожна.  
Чтоб вольно жить – увы! я слишком слаб...  
О, неужель свобода невозможна  
И человек до самой смерти – раб?

Приведем строки и из знаменитого стихотворения «Парки» (1892):

Мы же лгать обречены:  
Роковым узлом от века

В слабом сердце человека  
Правда с ложью сплетены,  
Лишь уста открою – лгу,  
А распутать не умею,  
Покориться не могу...

Стихи у Мережковского всегда были холодными и рассудочными, неэмоциональными, без всплеска чувств. Он и сам это понимал и в середине 90-х перестал писать стихи, перешел на прозу, историю и религиозные искания «новой веры, новой жизни». Как отмечал Юрий Терапиано, «Мережковский по своей натуре был эсхатологом».

Идея прогресса, рая на земле без Бога, а также всяческое устройство на земле во всех областях вплоть до «совершенного искусства», «полного научного познания», а также личного спасения души в загробном мире – для Мережковского – «мировая пошлость и плоскость, измена Духу».

А вот что писала Зинаида Гиппиус в биографической книге «Дмитрий Мережковский»: «Живой интерес ко всем религиям, к пантеизму, к их истории, ко всем церквам, христианским и нехристианским равно. Полное равнодушие ко всей обрядности...»

Георгий Адамович отмечал, что Мережковский «думал о Евангелии всю жизнь и шел к “Иисусу Неизвестному”» («Иисус Неизвестный» – один из центральных философских трудов Мережковского, изданный в Белграде в 1932–1934 годах в трех томах). Мережковский считал, что

исторически христианство себя исчерпало и человечество стоит на пороге царств «Третьего Завета», где произойдет соединение плоти и духа...

В своей супруге Зинаиде Гиппиус Мережковский нашел ближайшего соратника, вдохновительницу и участницу всех своих идейных и творческих исканий. Это был надежный и прочный союз (и что интересно: без плотского фундамента). «Они сумели сохранить каждый свою индивидуальность, не отдаться влиянию друг на друга... Они дополняли друг друга. Каждый из них оставался самим собой», – вспоминала Ирина Одоевцева.

На литературных приемах у Мережковских, по свидетельству Андрея Белого, «воистину творили культуру, и слова, произносимые на этой квартире, развозились ловкими аферистами слова. Вокруг Мережковского образовался целый экспорт новых течений без упоминания источника, из которого все черпали. Все здесь когда-то учились, ловили его слова».

Лев Шестов называл Мережковского «страстным охотником за идеями». Все эти найденные или «подстреленные» Мережковским идеи расхватывались другими. Ну что ж, щедрый охотник...

В годы революционного брожения квартира Мережковских была «своего рода магнитом, куда тянулись философствующие лирики и лирические философы» (Георгий Чулков).

В 1905 году в журнале «Полярная звезда» появилась знаменитая статья Дмитрия Мережковского «Грядущий Хам».

«Грядущим Хамом» окрестил Мережковский грядущего человека социализма. Социализму он приписал религию «сытого брюха» и полного аморализма. Будущее виделось ему как «лицо хамства, идущего снизу, – хулиганства, босячничества, черной сотни». Отвечая на написанный Николаем Минским «Гимн рабочих», Мережковский предвещал, что «<sup>С</sup> из развалин, из пожарищ” ничего не возникнет, кроме Грядущего Хама».

И вот Хам пришел. Революция принесла с собой голод, холод и смерть, и Мережковские – он и Зинаида Гиппиус – решили эмигрировать. Для чего написали в Комиссариат просвещения письмо с просьбой выехать на фронт для чтения лекций по Древнему Египту и на другие жизненно необходимые (!) темы. Им разрешили, и они вчетвером, со старым знакомцем Дмитрием Философовым и студентом Петербургского университета Владимиром Злобиным, отправились в декабре 1919 года в Минск, а затем нелегально пересекли границу с Польшей. Пожили немного в Польше, а оттуда в Париж, где у Мережковских была с дореволюционных пор своя собственная квартира в квартале Пасси.

16 декабря 1920 года в Париже Мережковский прочитал свою первую лекцию «Большевизм. Европа и Россия», в которой рассмотрел тройную ложь большевиков «мир, хлеб и свобода», обернувшуюся войной, голодом и рабством.

Узнав о визите в Россию Герберта Уэллса, Мережковский обратился с открытым письмом к английскому писателю. В нем он, в частности, писал: «Знаете, что такое большевики? Не люди, не звери и даже не дьяволы, а наши “марсиане”. Сейчас не только в России, но и во всей земле происходит то, что вы так гениально предсказали в “Борьбе миров”. На Россию спустились марсиане открыто, а тайно, подпольно кишат уже везде. Самое страшное в большевиках не то, что они превзошли всякую меру злодейств человеческих. А то, что они существа иного мира: их тела – не наши, их души – не наши. Они чужды нам, земнородным, неземною, трансцендентною сущностью...»

В ненависти к большевикам Мережковский в радиоречи поддержал в 1941 году даже Гитлера, подчеркнув, что необходим крестовый поход против большевизма как против абсолютного зла. Мережковский выступал за интервенцию, которая помогла бы спасти мир и возродить Россию. «Я призывал, вопил, умолял, заклинал, – признавался Мережковский, – мне даже стыдно сейчас вспоминать, в какие только двери я не стучался...» Однако Запад не услышал Мережковского. Его услышали в Москве, и пришли к нему, в парижскую квартиру в доме 11-бис на авеню дю Колонель Бонне, несколько вооруженных людей, но опоздали: Мережковский успел умереть естественной смертью.

А теперь вернемся назад. Квартира Мережковских в Париже в течение 15 лет была одним из средоточий эмигрант-

ской культурной жизни. На воскресеньях у Мережковских собирался русский интеллектуальный Париж, и молодое «зарубежное поколение» любило слушать рассказы Дмитрия Сергеевича и Зинаиды Гиппиус о петербургском периоде их жизни.

По воскресеньям у Мережковских собирались на дневные чаи. «Встречал гостей Злобин, секретарь Мережковских. Зинаида Николаевна подымалась с дивана в гостиной, где лежала до нас с папиросой и томиком французским в руках. Лениво подходила к кабинету Мережковского, лениво и протяжно кричала ему:

– Дмитрий, выходи! Пришли.

...Дмитрий Сергеевич все утро, до завтрака, писал своих Францисков, Августинов или читал. Лени в нем ни малейшей. Восьмой десяток, но он всё “на посту”, как прожил жизнь с книгами своими, так с ними и к пределу подходит. Теперь они оба много мягче и тише, чем во времена Петербурга...» – вспоминал Борис Зайцев.

В эмиграции следует отметить три момента: поездку в Италию и встречу там с Бенито Муссолини; выступление Мережковского по радио в 1941 году, где он выражал надежду, что Гитлер уничтожит большевистский режим Сталина (за эту речь многие резко осудили Мережковского, и сам он впоследствии от своих слов открестился). И обиду на Бунина, что тому присудили Нобелевскую премию, а не ему, Мережковскому.

Говорить о Мережковском как о прозаике трудно: он написал неимоверно много. Его первым историческим романом стала «Смерть богов», где он с музейной достоверностью реконструировал события идейной борьбы в Римской империи в IV веке. В книге «Вечные спутники. Портреты из всемирной истории» Мережковский представил многих гигантов, таких как Плиний Младший, Аврелий, Монтень и другие. В 1901 году вышел его роман о Леонардо да Винчи. За исследованием «Толстой и Достоевский» последовала книга «Судьба Гоголя. Творчество, жизнь и религия». В 1904 году был опубликован роман «Антихрист. Петр и Алексей».

Петр I, по Мережковскому, – соединение «марсова железа и евангельских лилий». Таков вообще русский народ: и в добре, и во зле «меры держать не умеет», но «всегда по краям и пропастям блудит».

Перечислять можно много. Томас Манн назвал Мережковского «гениальнейшим критиком и мировым психологом после Ницше». В 1933 году Мережковский выдвигался на Нобелевскую премию, но его опередил Бунин.

Дмитрий Мережковский прожил большую жизнь (76 лет) и казалось бы, сделал для русской литературы очень много, но, как отмечал Георгий Адамович: «Влияние Мережковского, при всей его внешней значительности, осталось внутренне ограниченным. Его мало любили, и мало кто за всю его долгую жизнь был близок к нему. Было признание, но не

было прорыва, влечения, даже доверия, – в высоком, конечно, отнюдь не житейском смысле этого понятия. Мережковский – писатель одинокий».

«О, как страшно ничего не любить, – это уже восклицал Василий Розанов, – ничего не ненавидеть, все знать, много читать, постоянно читать и, наконец, к последнему несчастью, – вечно писать, т. е. вечно записывать свою пустоту и увековечивать то, что для всякого есть достаточное горе, если даже и сознается только себе. От этого Мережковский вечно грустил».

Приведем воспоминания Надежды Тэффи: «...Перечитала недавно моих Мережковского и Гиппиус. Верьте слову, и половины не рассказала того, что следовало бы. Не хотелось перемывать грязное белье... Они были гораздо злее, и не смешные злые, а дьявольски. Зина была интереснее. Он – нет. В ней иногда просвечивал человек. В нем – никогда».

О смерти Мережковского 9 сентября 1941 года Борис Зайцев рассказал так:

«Раз утром вышел он в кабинет, сел в кресло перед топившимся камином – думал ли он о св. Иоанне или о чем-то житейском? Бог весть. Но когда прислуга пошла поправить уголь в камине, он сидел как-то уж очень неподвижно в глубоком кресле этом. Встать с него самому не пришлось. Сняли другие...»

Отпевали раба Божия Дмитрия в храме на рю Дарю. Было в церкви человек пятнадцать. И Зайцев прибавляет: «Хоро-

нили знаменитого русского писателя, известного всей Европе».

У Мережковского в стихотворении «Morituri» есть строчки:

Мы бесконечно одиноки,  
Богов покинутых жрецы...

Концовка такая:

Мы гибнем жертвой искупленья,  
Придут иные поколения.  
Но в оный день, пред их судом,  
Да не падут на нас проклятья:  
Вы только вспомните о том,  
Как много мы страдали, братья!  
Грядущей веры новый свет,  
Тебе от гибнущих привет!

# Неистовая и загадочная Зинаида Гиппиус

**Зинаида Николаевна Гиппиус** (1869, Белёв Тульской губернии – 1945, Париж). Поэт, литературный критик, прозаик, публицист, драматург, мемуарист. Столько граней одной пишущей профессии, опровергающих определение женщин, данное Оскаром Уайльдом, – «декоративный пол», Какой декоративный пол, когда у нее в руках сверкало огнедышащее перо.

Как ее только не называли: «Декадентская Мадонна», «Дама с лорнетом», «Чертова кукла» и т. д. Писали об ее загадке, Зазеркалье, об ускользающем образе, короче, авторы никак не могли определить, кто такая Зинаида Гиппиус. Владимир Соловьев написал в пародии:

Я – молодая сатиресса,  
Я – бес...  
Я вся живу для интереса  
Телес.  
Таю под юбкою копыта  
И хвост...  
Посмотрит кто из них сердито —  
Прохвост!..

Сама же Зинаида Николаевна себя как-то назвала «белой

дьяволицей».

Разумеется, не дьяволица, но очень талантливая и своеобразная женщина с мужским складом характера, не случайно у нее был псевдоним Антон Крайний. Она жила литературой, религиозными исканиями, Россией и Мережковским, с которым прожила 52 года, ни разу не расставаясь дольше, чем на несколько часов. «Мы никогда не расставались ни на одну ночь», – горделиво говорила она о своем союзе, скорее не обычном семейном, а исключительно литературном.

Мне нужно то, чего нет на свете,  
Чего нет на свете, —

знаменитая эпатирующая строчка эпатажной Зинаиды Николаевны.

Где родилась, как воспитывалась, как училась, как выглядела – всё опускаем. Об этом писано-переписано. О дооктябрьском периоде лишь скажем, что супруги З.Н. и Д.С. занимались утопией обновления жизни, сокращения разрыва между «мыслью» и «жизнью». И даже учредили совместный тройственный союз, куда привлекли литератора Дмитрия Философова, и весь Петербург гадал: как это они живут втроем?..

В ноябре 1917 года вся эта бурлящая литературная жизнь со спорами и поисками Истины, Добра и новой Гармонии разом рухнула, канула, исчезла. Вместо всего прежнего –

мучительное выживание, страх попасть в подвалы ЧК, голод и холод. Октябрьскую революцию Гиппиус определила, как «блудодействие», «неуважение к святыням», «разбой». И гневно писала в адрес большевиков:

Рабы, лгуны, тати ли —  
Мне ненавистен всякий грех.  
Но вас, Иуды, вас, предатели,  
Я ненавижу больше всех.

Стихи Зинаиды Гиппиус того периода содрогались от боли и презрения к новой власти:

Как скользки улицы отвратные,  
Какая стыдь!  
Как в эти дни невероятные  
Позорно жить!  
Лежим, заплеваны и связаны,  
По всем углам.  
Плевки матросские размазаны  
У нас по лбам.

Прежде надменная, насмешливо-остроумная, Гиппиус превратилась в женщину бешеного общественного темперамента, человека-экстрима. Она кричала, билась не за себя, а за Россию, за ее блестящую культуру, за вековые ценности, гневно возмущалась пассивностью и отстраненностью коллег. Вот один из таких «криков», напечатанных в третьем

номере декабрьского журнала «Вечерний звон» в 1917 году:

«Наши русские современные писатели и художники, вообще всякие “искусники”, все – варвары. Варвары, как правило, а исключения лишь подтверждают правила. И чем они великолепнее кутаются в “европеизм” – тем самым подозрительнее. О, нахватавшись словечек и щеголяют, как баба Дулеба, напялившая платье от Дусе.

То, что сейчас делают с Россией, всё, что в ней делается, и кто что делает – это, видите ли, их не касается. Это всё “политика”. Преходящие пустяки. А вот “искусство, вечность, красота”, “высокие культурные ценности” – вот их стихии. И там они “всегда свободны духом”, независимо от того, кто сидит над ними – Каледин, Ленин или фон Люциус (германский дипломат, сторонник заключения сепаратного мира между Россией и Германией. – *Прим. Ю.Б.*)».

«О, поэты, писатели, художники, искусники, культурники! – негодовала дальше Зинаида Гиппиус. – Не обманывайте нас своей “божественностью”! Из дикарей, из руссо-монголов в боги не прыгнешь, надо перейти через человечность, именно в культурном смысле слова. Или уж не будем лезть и лнуть к Европе, а восхвалим стихийную, земляную силу Таланта, она вне культуры, пожалуй, ярче вспыхивает, то там – то здесь, и – гаснет... “без последствий”...»

И в заключение своего «литературного фельетона» (а в хлесткости Зинаиде Николаевне не откажешь!) Гиппиус приводит примеры решительных действий Ламартина и

Жорж Санд, «потому что это были люди...».

«А вы... кто вы, русские болтуны, в тогах на немывтом теле? И на что вы России? Сейчас ей куда нужнее какой-то крестьянин, Сопляков, правый ср.-р., член Учр. Собрания, – нужнее, извините меня, пожалуйста!»

Но еще более, чем «болтунов», Зинаида Гиппиус ненавидела «перебежчиков», которые переметнулись в лагерь новой власти, и этого она им простить не могла.

В дневнике Зинаиды Гиппиус есть запись от 11 января 1918 года: «Для памяти хочу записать “за упокой” интеллигентов-перебежчиков... которых мы более или менее знали и которые уже оказались в связях с сегодняшними преступниками... важны сегодня первенькие, прошедшие, побежавшие сразу за колесницей победителей». Далее следует список имен, которых, по мнению Гиппиус, надо уничтожить физически. Первым идет писатель Иероним Ясинский (кто его знает сегодня?), вторым – Александр Блок, «потерянное дитя, внеобщественник...». И Гиппиус добавляет, что ей больше всех жалко Блока, он какой-то невинный. «И ему “там” отпустится...»

Есть в списке Демьян Бедный, «два поэта из народа» – Николай Клюев и Сергей Есенин, «оба не без дарования», «Корней Чуковский, литературный критик, довольно даровитый, но не серьезный, вечно не взрослый»... Последний в списке, кто за новую власть: Всеволод Мейерхольд. О нем

З.Н. высказалась весьма категорично: «Этот, кажется, особенно дрянь». За то, что стал активно создавать боевой агитационный театр и провозгласил программу «Театрального Октября»?.. Среди ненавистных фамилий Андрей Белый, Александр Бенуа и другие.

На следующий день, 12 января, Гиппиус поместила в дневнике строки, обращенные к власти:

Мне пулю – на миг...  
А тебе нагайка.  
Тебе хлысты мои —  
на века!..

А что власть? Один из вождей революции Лев Троцкий в статье «Внеоктябрьская литература» разнес в пух и прах сборник Гиппиус «Последние стихи. 1914-18 г.», а саму поэтессу назвал «питерской барыней», у которой «под декадентски-мистически-эротически-христианской оболочкой скрывается натуральная собственническая ведьма». И сделал вывод, что у «почти классиков» – Бунина, Мережковского, Зинаиды Гиппиус, Зайцева, Замятина и прочих нет будущего, что все они – «приживальщики и содержанцы» у советской власти».

Вернемся, однако, к Блоку. Его когда-то Гиппиус любила и написала о нем с не свойственной ей нежностью эссе «Мой лунный друг». И вот последняя личная встреча:

«– Здравствуйте.

Этот голос ни с чьим не сравнишь. Подымаю глаза. Блок. Лицо под фуражкой какой-то (именно фуражка была – не шапка), длинное, желтое, темное.

– Подадите ли вы мне руку?

Я протягиваю ему руку и говорю:

– Лично – да. Только лично. Не общественно.

Он целует руку. И, помолчав:

– Благодарю вас.

Еще помолчав:

– Вы, говорят, уезжаете?

– Что ж... Тут или умирать – или уезжать. Если, конечно, не быть в вашем положении...»

А вдогонку, несколько позднее, Зинаида Гиппиус внесла Блока в свой минус-список. Этот список Гиппиус поместила в своем дневнике, который она вела со времен Первой мировой войны.

Сначала это были «Петербургские дневники, затем «Черные тетради», в них Гиппиус рисовала картину сползания России в бездну безумия. Из окна своей квартиры на Литейном она «следила за событиями по минутам». Потом дневники Зинаиды Николаевны будут изданы и обожгут всех своей яростной болью. Своим проницательным умом она увидела то, что многие не видели и не догадывались о будущем России:

И скоро в старый хлев ты будешь загнан палкой,

Народ, не уважающий святынь.

Вот только одна запись из «Черной тетради» от 5 января 1919 года:

«...Мы, интеллигенция, какой-то вечный Израиль, и при-  
том глупый. Мы в вечном гонении от всякого правительства,  
царского ли, коммунистического ли. Мы нигде не считаем-  
ся. Мы *quantite negligeable* (ничтожество – фр.), И мы бли-  
стательно доказали, что этой участи вполне достойны...

...В Октябрьские торжества внесли полотнища с хамской  
рожей и с хамскими словами внизу, хамски и жидовски на-  
чертаннами:

Мы на горе всем буржуям  
Мировой пожар раздуем!

Это его – Блока – слова!!

Довольно.

Нас постигло “небытие”. Пусть мы, Россия, русский на-  
род, виноваты сами. Я готова сейчас признать все вины, при-  
знать наше небытие, нашу тупость. Но ведь Европа еще жи-  
ва! И мы – какая-то часть ее тела, все-таки, хотя бы самая  
ничтожная. Кто ослепил, одурил Европу, и она не понимает,  
как для ее жизни опасно наше трупное разложение? Кто у  
нее отнял разум? Если бог, – за что ОН ее так наказывает?»

В конце декабря 1919 года Зинаида Гиппиус, Мережков-  
ский, Философов и сын их петербургской приятельницы Во-

люды Злобин нелегально пересекают русско-польскую границу:

До самой смерти... Кто бы мог подумать?

(Сани у подъезда. Вечер. Снег.)

Никто не знал. Но как было думать,

Что это – совсем! Навсегда! Навеки!

Молчи! Не надо твоей надежды!

(Улица. Вечер. Ветер. Дома.)

Но как бы знать, что нет надежды?

(Вечер. Метелица. Ветер. Тьма.)

В Польше они ждали свержения большевистского режима, не дождалась (в Варшаве Гиппиус сотрудничала с газетой «Свобода») и уехали в Париж, где у них с дореволюционных времен сохранилась квартира (11-бис, рю Колонель Бонне).

В Париже Гиппиус и Мережковский возобновили знакомство с Буниным, Бальмонтом, Шмелевым и другими пребывавшими в статусе русских эмигрантов. Снова сборы, литературные чтения, обсуждения и споры. С 1927 года Зинаиде Николаевне удалось организовать регулярные «писательско-религиозно-философские» (И. Одоевцева) заседания общества под названием, ставшим знаменитым, – «Зеленая лампа».

К Мережковским «ходили все или почти все», как вспоминала Нина Берберова. И вновь, как в Петербурге, на этих

литературных вечерах безраздельно царила Зинаида Гиппиус. К тому же она успевала много писать и издавать. В 1921 году увидели свет дневники Гиппиус 1919 года. Вышла книга стихов. В 1925 году в Париже издан двухтомник мемуаров Гиппиус «Живые лица». Последней ее работой, которая осталась незавершенной, стала биографическая книга «Дмитрий Мережковский».

С годами Зинаида Николаевна менялась и как человек, и как литератор. «Ее новые интонации, – писал представитель следующего поколения русской эмиграции поэт Юрий Терапиано, – подлинны, человечны, в них много примиренности и искренней мудрости».

Первым из супругов (52 года вместе!) умер Мережковский в декабре 1941 года. Зинаида Николаевна пережила его почти на 4 года.

«После смерти мужа она замкнулась в себе, – свидетельствует верный Владимир Злобин (оставшийся с нею до последнего ее часа), – и даже помышляла о самоубийстве – только “остаток религиозности” удерживал ее от самовольного ухода. Но – “жить мне нечем и не для чего”, – записывает она в дневник. И все же нашла в себе силы и продолжала жить».

Последние ее годы были трудными «для бабушки русско-го декадентства», как она шутливо называла себя. Она ушла из жизни 9 сентября 1945 года, не дожив двух месяцев до 76 лет.

И только одно здесь я знаю верное:  
Надо всякую чашу пить – до дна, —

написала она когда-то в молодые годы. И точно: она мужественно выпила свою чашу до дна.

Чаша выпита. Чаша разбита. И о чем разговор?.. «Я покорных и несчастных не терплю...» Это из стихотворения Гиппиус, написанного в 1907 году.

# Вячеслав Иванов – одна из вершин русской культуры

**Вячеслав Иванович Иванов** (1866, Москва – 1949, Рим).

Одно из самых громких имен Серебряного века, одна из вершин русской культуры.

В книге «История русской литературы. XX век. Серебряный век», выпущенной французским издательством «Файяр», Вячеслав Иванов представлен так: «Крупный и своеобразный поэт, признанный лидер и виднейший теоретик символизма, эрудированный филолог-классик и религиозный философ, человек Ренессанса по многообразию интересов и, без сомнения, самая образованная личность в России своего времени. “Вячеслав Великолепный” выделялся масштабом даже на фоне ослепительной плеяды своих современников от Владимира Соловьева до Осипа Мандельштама».

«Вячеслав Иванов – редчайший представитель средиземноморского гуманизма, в том смысле, какой придается этому понятию начиная с века Эразма Роттердамского, и в смысле расширенном – как знаток не только античных авторов, но и всех европейских культурных ценностей... Философов, поэтов, прозаиков всего западного мира он читал в подлиннике и перечитывал постоянно, глубоко понимал также и жи-

вопись, и музыку...» (Сергей Маковский).

А теперь в качестве курьеза, и курьеза печального, приведем характеристику выдающегося деятеля Серебряного века из БСЭ 1933 года: «Мертвенное, чуждое даже для его современности, искусство Иванова оказалось близким лишь для кучки вырождающихся дворянских интеллигентов».

Да, советские литературоведы выдвинули на первый план «революционного поэта» Блока и задвинули на задний како-го-то Вячеслава Иванова, который в феврале 1922 года заявил: «Я, может быть, единственный теперь человек, который верит в греческих богов, верит в их существование и реальность».

Крупнейший русский культуролог и исследователь античности, Вячеслав Иванов ощущал античность своей прародиной. Человек европейского образования, поэт культуры и духовности, он считал, что поэт и народ, толпа и рапсод – «неделимы в разделении», и мечтал о соборном искусстве. Как отмечал философ Федор Степун, «в нем впервые сошлись и примирились славянофильство и западничество, язычество и христианство, философия и поэзия, филология и музыка, архаика и публицистика...».

Про Вячеслава Иванова ходила присказка: «Иванов – сложный поэт? Ничего подобного! Достаточно знать немного по-латыни, по-гречески, по-древнееврейски, чуть-чуть санскрита – и вы всё поймете».

Навскидку строки из цикла «Золотые завесы»:

Мне Память вдруг, одной из стрел-летуний  
Дух пронизав уклончивей, чем Парф,  
Разящий в бегстве, – крутолуких арф  
Домчит бряцанье и, под систр плясуний,  
Псалмодий стон...

и т. д. из жизни фараонов.

Кто-то заметил, что если русская литература вышла из гоголевской «Шинели», то поэзия символистов если не вышла из ивановской «Башни», то прошла через нее. Все модернисты-декаденты-символисты-акмеисты, начиная с Бальмонта, – Зинаида Гиппиус, Сологуб, Кузмин, Блок, Брюсов, Волошин, Гумилев, Ахматова – проделали этот путь.

С осени 1905 года Вячеслав Иванов с женой Лидией Зиновьевой-Аннибал превратил свою петербургскую квартиру в доме № 25 по Таврической улице в литературно-художественный салон. В этой угловой квартире, именуемой «Башней», по средам стали проходить журфиксы – сборы всех знаменитостей Петербурга и Москвы.

В «Башне» всё проходило на манер барочных итальянских академий, в атмосфере утонченной игры – чтения, дискуссии, споры, разыгрывание театральных и музыкальных пьес. В них участвовали маститые и начинающие, литераторы в славе и поэты на подступах к ней, и всех соединял Вячеслав Иванов, называющий себя «зодчим мостов». Внешностью, блестящим разговором, осанкой «жреца» он был рус-

ским «почти Гёте» – так воспринимал его, по крайней мере, Георгий Иванов.

Приведем несколько портретных высказываний о Вячеславе Иванове. Мстислав Добужинский вспоминал:

«Его довольно высокий голос и всегда легкий пафос подходил ко всему облику Поэта. Он был высок и худ и как-то устремлен вперед и еще имел привычку в разговоре подыматься на цыпочки. Я раз нарисовал его в этой позе “стартующим” к звездам с края “башни”, с маленькими крылышками на каблуках...» (*М. Добужинский. Встречи с писателями и поэтами*).

«Его познания во всех областях были колоссальны, а задача этих познаний – артистична. Из русских людей я не знал никого, кто мог бы сравниться с ним в этом искусстве серьезной и содержательной элоквенции. Вообще на меня он производил впечатление наиболее глубокого, проникновенного и одаренного из всех символистов» (*Л. Сабанеев. Мои встречи*).

Ему вторит Николай Бердяев:

«В. Иванов – лучший русский эллинист. Он – человек универсальный, поэт, ученый-филолог, специалист по греческой религии, мыслитель, теолог и теософ, публицист, вмешивающийся в политику. С каждым он мог говорить по его специальности...»

...Он всегда поэтизировал окружающую жизнь, и этические категории с трудом к нему применимы. Он был всем:

консерватором и анархистом, националистом и коммунистом, он стал фашистом в Италии, был православным и католиком, оккультистом и защитником религиозной ортодоксии, мистиком и позитивным ученым. Одаренность его была огромная» (Н. Бердяев. *Самопознание*).

Журфиксы серебристов, всех персонажей Серебряного века, отжурчали в 1917 году. Под впечатлением Февральской революции Вячеслав Иванов молил:

Боже, спаси  
Свет на Руси,  
Правду твою  
В нас вознеси,  
Солнце любви  
Миру яви  
И к бытию  
Русь obnovи.

Молитвы не помогли. «Революция протекает внерелигиозно...» – отмечал поэт. Примечательно: на складе издательства Сабашниковых сгорели все экземпляры только что напечатанной книги Вячеслава Иванова «Эллинская религия страдающего бога». В тяжелейших условиях советского быта Вячеслав Иванов продолжает напряженно работать и летом 1920 года попадает в московскую «здравицу для переутомленных работников умственного труда». Жизнь в одной комнате с историком и другом Михаилом Гершензоном дала

возможность написать удивительную книгу «Переписка из двух углов» (1921) – образец культурной полемики о смысле бытия, смерти и бессмертия.

В 1924 году Вячеслава Иванова пригласили в Москву – прочесть в Большом театре на пушкинском торжестве доклад о Пушкине. После чего ему позволили покинуть Россию. Вячеслав Иванов с семьей уехал в Кисловодск, а далее в Баку, где он защитил докторскую диссертацию на тему «Дионис и прадионисийство» (опять ничего советского!).

Бакинский период закончился, и 28 августа 1924 года Вячеслав Иванов выехал со всей семьей в Рим. Началась эмиграция...

Почему в Рим, а не в Париж, куда чаще всего направлялись эмигранты и где были и его друзья? Просто Вячеславу Ивановичу было комфортнее в Риме без эмигрантской суеты и возни, ибо в Риме в основном обитали русские аристократы и царские дипломаты. Там ему было спокойно, он всегда считал Рим своей второй духовной родиной...

Вновь, арок древних верный пилигрим,  
В мой поздний час вечерним «Ave Roma»  
Приветствую, как свод родного дома,  
Тебя, скитаний пристань, вечный Рим...

Кстати, еще несколько строк о Вячеславе Иванове как поэте. Мнение Федора Степуна:

«Лирика Вяч. Иванова занимает совершенно особое ме-

сто в истории русской поэзии. Своею философичностью она отдаленно напоминает Тютчева, но как поэт Иванов, с одной стороны, гораздо отвлеченнее и риторичнее, а с другой – перегруженнее и пышнее Тютчева...» Некоторую витиеватость и ученую тяжеловесность можно продемонстрировать стихотворением «Родина»:

Родина, где ты?  
В тайной пещере —  
Видимо вере —  
Светятся светы.

Кто не ослеп  
В веке свирепом,  
Людным и лепым  
Видит вертеп.

Где невидимый  
Зиждут соборне Храм, —  
там и корни  
Руси родимой.

А вот строки из «Римского дневника» 1944 года:

Европа – утра хмурый холод,  
И хмурь содвинутых бровей,  
И тень готических церквей.

Россия – рельсовый широкий  
По снегу путь, мешки, узлы,  
На странничьей тропе далекой  
Вериги или кандалы...

С 1926 по 1934 год Вячеслав Иванов был профессором в университете Колледжио Борромео в Павии и читал лекции о русской культуре. Общался с Муратовым, который жил в Риме. Принимал дальних гостей – Бунина, Зайцева, Мережковского. Написал удивительный цикл стихов «Римский дневник 1944 года». А так жил уединенно на виа Монте Тарцео – отшельником Тарцевой скалы. 17 марта 1926 года перешел в католицизм и стал одним из провозвестников экуменического движения. Не успел закончить роман-поэму «Свето-мир». И за месяц до своей кончины признался эстонскому поэту Алексису Ранниту с улыбкой, что, «если ему на том свете не дадут возможность читать, говорить и писать по-гречески, он будет глубоко несчастен».

Вячеслав Иванов скончался 6 мая 1949 года в возрасте 83 лет.

Итальянский писатель Джованни Папини причислил Вячеслава Иванова к семи великим старикам (наряду с Бернардом Шоу, Гамсуном, Метерлинком, Клоделем, Ганди и Андре Жидом), в лице которых минувший век жил еще в культурной реальности послевоенного мира, семи великих из плеяды поэтов и мифотворцев, на ком лежала, хотя бы частично, ответственность за катастрофу XX века.

Мысль спорная. В конечном счете, виноваты политики, а отнюдь не поэты. Поэты витают в облаках, а политики вершат на земле свои конкретные черные дела. И, может быть, уместно вспомнить строки «Великолепного Вячеслава»:

Замирая, кликом бледным  
Кличу я: «Мне страшно, дева,  
В этом мороке победном  
Медно-скачущего Гнева...»

А Сивилла: «Чу, как тупо  
Ударяет медь о плиты...  
То о трупы, трупы, трупы  
Спотыкаются копыта...»

## **P.S.**

Вячеслав Иванов немислим без своей жены. «...Эти двое – Вяч. Иванов и Зиновьева-Аннибал – счастливы своей внутренней полнотой, как не бывают счастливы русские люди... Не первого десятилетия двадцатого века – пришельцами большого, героического казались они, современниками Бетховена, что ли» (*Е. Герцук. Воспоминания*).

Жена Вячеслава Иванова – Лидия Дмитриевна Аннибал (1865–1907) была истинной царицей «Башни». Дальний потомок знаменитого арапа Петра Великого, она была женщиной необычной и яркой. В посадке ее головы было что-то львиное. Сильная, прямая шея, смелый взгляд. Белокурые

волосы с розовым отливом. Особый блеск серых глаз. Весь Петербург удивляла своими декадентскими причудами и к гостям выходила в сандалиях и в греческом одеянии алого цвета. Полулежа на ковре, слушала стихи...

Лидия встретила с Ивановым в Италии летом 1893 года, куда она бежала от мужа с тремя детьми. К тому моменту он был женат уже семь лет... «Встреча с нею была подобна могучей дионисийской грозе, после которой все во мне обновилось, расцвело и зазеленело, – вспоминал Вячеслав Иванов. – ...Друг через друга мы нашли себя и даже больше, чем себя». Иванова мучила вина перед женой, он пытался преодолеть страсть... Но расстаться с Лидией уже не мог.

Муж Зиновьевой-Аннибал отказался дать ей развод. В ожидании возможности венчаться Вячеслав и Лидия вынуждены были скрываться и прятать ее детей. Они странствовали по Италии, Флоренции, Англии, Швейцарии. Романтическое путешествие окончилось через четыре года в Ливорно, где их венчали по первохристианскому обычаю, возложив на головы виноградные лозы, перевитые белой овечьей шерстью.

После ранней смерти Лидии Аннибал «Башня» опустела и затихла. А Вячеслав Иванович, к удивлению всех, женился на дочери Лидии от ее первого брака Вере. Они обвенчались в Ливорно в маленькой церкви. Вера родила «Великолепному Вячеславу» сына и угасла от туберкулеза. Такова вот «лав стори». Можно как угодно относиться к этой исто-

рии, но лучше помнить строки поэта:

Пред Вселенною огромной —  
Звездной пыли мы комок...

# Бальмонт – поэт от рождения

*Я живу слишком быстрой жизнью и не знаю никого, кто так бы любил мгновенья, как я. Я иду, я ухожу, я меняю и изменяюсь сам. Я отдаюсь мгновенью, и оно мне снова и снова открывает свежие поляны. И вечно цветут мне новые цветы.*  
**К. Бальмонт. Из записной книжки. 1904 год. 3 января. Ночь.**

**Константин Дмитриевич Бальмонт** (1867, деревня Гумнище Шуйского уезда Владимирской губернии – 1942, Нуази-Ле-Гран близ Парижа). Поэт, критик, эссеист, переводчик.

«Если бы надо было назвать, – писала Марина Цветаева, – Бальмонта одним словом, я бы, не задумываясь, сказала: “Поэт”. Я бы не сказала так ни о Есенине, ни о Маяковском, ни о Гумилеве, ни даже о Блоке. Ибо в каждом из них, кроме поэта, было еще нечто. Даже у Ахматовой была молитва – вне стихов. В Бальмонте же, кроме поэта, нет ничего»

Если продолжить цветаевскую мысль, то поэт – это житель альпийских высот, горный человек, возвышенный над бытом и живущий в мире поэтических представлений. «В Бальмонте, кроме поэта, нет ничего, – повторяет Цветаева. – До франков и рублей он просто не снисходит. Больше скажу:

он вообще с жизнью не знаком...».

В мемуарах Бориса Зайцева говорится: «Бальмонт был, конечно, настоящий поэт и один из “зачинателей” Серебряного века. Бурному литературному кипению предвоенному многими чертами своими соответствовал – новизной, блеском, задором, певучестью».

В начале XX века, писал Брюсов, «в течение десятилетия Бальмонт нераздельно царил над русской поэзией. Другие поэты или покорно следовали за ним, или, с большими усилиями, отстаивали свою самостоятельность от его подавляющего влияния».

Всё крутилось вокруг его «Я» и его чувств.

Я не знаю мудрости, годной для других,  
Только мимолетности я влагаю в стих.  
В каждой мимолетности вижу я миры,  
Полные изменчивой радужной игры...  
И зову мечтателей... Вас я не зову...

Мечтатель, огнепоклонник, светослужитель (последняя книга «Светослужитель» вышла в 1937 году), он почти никогда не описывал социальной жизни. Его интересовали только личные ощущения, только «мимолетности». «Дьявольски интересен и талантлив этот неврастеник», – сказал о Бальмонте Максим Горький.

Им восхищались. Ему подражали. «Душами всех, кто действительно любил поэзию, овладел Бальмонт и всех влюбил

в свой звонко-певучий стих» (Брюсов).

Я – изысканность русской медлительной речи,  
Преодо мною другие поэты – предтечи,  
Я впервые открыл в этой речи уклоны,  
Перепевные, гневные, нежные звоны.  
Я – внезапный излом,  
Я – играющий гром,  
Я – прозрачный ручей,  
Я – для всех и ничей...

Бальмонт весь музыкален. «Его стихи – сама стихия», – определял Игорь Северянин, а уже в наше время Евгений Евтушенко добавил: «Избалованный звукопроказник».

Из воспоминаний Тэффи:

«Россия была именно влюблена в Бальмонта. Все – от светских салонов до глухого городка где-нибудь в Могилевской губернии – знали Бальмонта. Его читали, декламировали и пели с эстрады. Кавалеры нашептывали его слова своим дамам, гимназистки переписывали в тетрадки: “Открой мне счастье, / Закрой глаза...”». Либеральный оратор вставлял в свою речь: “Сегодня сердце отдам лучу...”. И ответная рифма звучала на полустанке Жмеринка-товарная, где телеграфист говорил барышне: “Я буду дерзок – я так хочу”».

Короче, Бальмонт был поэтом поколения Тэффи: «Он наша эпоха. К нему перешли мы после классиков, со школьной скамьи. Он удивил и восхитил нас своим “перезвоном

хрустальных созвучий”, которые вливались в душу с первым весенним счастьем...»

Бальмонта часто сравнивали с Брюсовым, отмечала Тэффи. И всегда приходили к выводу, что Бальмонт истинный, вдохновенный поэт, а Брюсов стихи свои высиживает, вымучивает. Бальмонт творит, Брюсов работает...

Бальмонт творил много и дерзновенно, лучшие его до-революционные сборники – «Горящие здания», «Будем как солнце» и «Только любовь» – принесли ему славу как одному из ведущих поэтов-символистов.

А потом облом. Крах. Революция. Как рассказывал Бальмонт Андрею Седых: «В Москве меня вызвали в Чека. Дама-следователь, подслеповатая, в пенсне, спросила:

– К какой политической партии вы принадлежите?

Я ответил кратко:

– Поэт».

Февраль 1917 года Бальмонт встретил ликующе. Но когда увидел истинное, грубое и страшное лицо революции, Бальмонт отверг ее. Получив разрешение выехать из советской России на полгода, Бальмонт 25 июня 1920 года уехал навсегда. «Мы провожали Бальмонта за границу. Мрачный, как скалы, Балтрушайтис, верный друг его, тогда бывший литовским посланником в Москве, устроил ему выезд законный – и спас его этим. Бальмонт нищенствовал и голодал в леденевшей Москве, на себе таскал дровишки из разобранного забора, питался проклятой “пшеникой” без сахара и масла.

При его вольнолюбии и страстности непременно надерзил бы какой-нибудь особе – мало ли чем это могло кончиться» (Б. Зайцев. «Воспоминания о Серебряном веке»).

«Изгнанник ли я? – спрашивал себя Бальмонт. – Вероятно, а впрочем, я и не знаю. Я не бежал, я уехал. Я уехал на полгода и не вернулся. Зачем бы я вернулся? Чтобы снова молчать как писатель, ибо печатать то, что я пишу, в теперешней Москве нельзя, и чтоб снова видеть, как, несмотря на все мои усилия, несмотря на все мои заботы, мои близкие умирают от голода и холода? Нет, я этого не хочу...»

Мне кажется, что я не покидал России  
И что не может быть в России перемен.  
И голуби в ней есть. И мудрые есть змии.  
И множество волков. И ряд тюремных стен.  
Грязь «Ревизора» в ней. В ней гоголевский ужас.  
И Глеб Успенский жив. И всюду жив Щедрин...

Это строки из стихотворения Бальмонта «Дурной сон». И разящие заключительные:

Жужжат напрасные, как мухи, разговоры.  
И кровь течет не в счет. И слезы – как вода.

В Париже Бальмонта называли «Русский Верлен», сравнивая его бедственное положение и роковое пристрастие к вину с тяжелой судьбой французского поэта. Психическое

заболевание оборвало струны его лиры. Нищета, больница, полное забвение. Он умер в оккупированном гитлеровцами Париже в возрасте 75 лет.

Печальный конец? Но такова жизнь. А в ее начале – энергия, сила, подъем...

Я вольный ветер, я вечно вею,  
Волную волны, ласкаю ивы,  
В ветвях вздыхаю, вздохнув, немею,  
Лелею травы, лелею нивы.  
Весною светлой, как вестник мая,  
Целую ландыш, в мечту влюбленный,  
И внемлет ветру лазурь немая, —  
Я вею, млею, воздушный, сонный,  
В любви неверный, расту циклоном...

В эмиграции, в Париже, Бальмонт не был уже «вольным ветром». Напротив, злющий ветер чужбины сек его лицо и охлаждал душу. Но надо было жить, зарабатывать деньги, а это было ой как непросто. «Звенящие возможности», так метафорически как поэт называл Бальмонт денежные знаки, давались ему с превеликим трудом. Он продолжал жить в ритме своих поэтических ритмов, заклинаний, стихотворного шаманства, колдовства, но там, в эмиграции, это было никому не нужно, да и другим русским эмигрантам было не до стихов Бальмонта.

В своей книге воспоминаний Андрей Седых писал:

«Бальмонт ушел из мира живых давно, за десять лет до своей физической смерти. Он страдал душевной болезнью, о нем забыли, и мало кто знал, как борется со смертью непокорный дух Поэта, как мучительна и страшна была его десятилетняя агония...

Бальмонт жил в эти годы неподалеку от Люксембургского сада, совсем рядом с Тургеневской библиотекой. Жил он замкнуто, почти нигде не появлялся. Ненавидел город, шумные улицы, бесполезных людей. К тому же это были тяжкие годы заката – поэзия его оказалась вдруг ненужной, и к человеку, который написал так много замечательных стихов, новые, не всегда “молодые” поэты с Монпарнаса относились со снисходительным пренебрежением. Бальмонт от всего этого страдал невыносимо и бывал счастлив только вдали от всех, наедине с самим собой, у моря.

“...Политическое переливание из пустого в порожнее...” Он не любил политики, чуждался ее и, кажется, считал политику ответственной за все свои личные несчастья и за то, что стихов его больше никто не читал.

Вот характерное для Бальмонта письмо, которое я получил от него в сентябре 1926 года:

“Я живу в лесном местечке, – писал он, – среди сосен, на берегу океана. Пишу стихи, пишу прозу. Появляется моего в печати очень мало...”»

Седых рассказывает случай, когда однажды в отеле «Лютеция» они сидели с Бальмонтом за бутылкой белого бордо.

Официант бестактно намекнул им, что пора оплатить счет и покинуть зал. Бальмонт побелел от ярости, поднялся во весь рост, бешено сверкнул глазами и, подняв бокал с вином, не сказав ни единого слова, разбил его о голову официанта.

Очевидно, это было начало длительной душевной болезни поэта, которая привела Бальмонта сначала в больницу, потом в приют матери Марии, где он прожил последние годы своей тяжелой жизни, притихший, ничего больше не сознававший, никогда больше не улыбающийся... Невольно вспоминается «Ворон» Эдгара По в переводе Бальмонта:

И сидит, сидит зловещий Ворон черный, Ворон вещий.  
С бюста бледного Паллады не умчится никогда,  
Он глядит, уединенный, точно демон полусонный,  
Свет струится, тень ложится, на полу дрожит всегда,  
И душа моя из тени, что волнуется всегда,  
Не восстанет – никогда!

Господи! Как всё лучезарно светилось, и всё потом так помрачнело... И снова всплывают строчки Бальмонта:

Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце,  
А если день погас,  
Я буду петь... Я буду петь о солнце  
В предсмертный час!

Писатель Степан Скиталец рассказывал о Бальмонте:

«Он ведь, знаете, страшно нуждался, жил в каком-то доме призрения для бедствующих русских эмигрантов... Да и на какие средства было ему существовать?.. Стихи его печатались редко, ничтожными тиражами, а к 30-м годам, кажется, и вовсе не выходили отдельными сборниками... Но тут вдруг в его судьбу вмешивается Руставели. Да, да, не смотрите на меня удивленно, – говорил Скиталец, обращаясь к группе писателей, навестивших его. – Дело в том, что к моменту, когда в СССР затеяли празднование 750-летия “Витязя в тигровой шкуре”, выяснилось, что единственный русский перевод поэмы, которым практически можно воспользоваться, – это перевод, сделанный Бальмонтом... «Витязь в тигровой шкуре» вышел в его переводе. Ну а когда книга уже вышла, советское правительство выплатило Бальмонту, больному и нищему, почти всеми забытому поэту, огромную для него сумму – 75 тысяч франков. Для него это было как звезда с неба. Вот тогда-то, вскоре, он смог оставить дом призрения, в котором ютился вместе с женой, и снять отдельную квартиру, ну и вообще жить по-человечески... Александр Иванович Куприн не без юмора писал мне, что в ту пору над столом Бальмонта появились портреты видных советских деятелей, и он заговорил о возвращении в Россию...»

Но это был миф, ибо хлопоты о гонораре затянулись, и он так и не был переведен поэту. Никакой благополучной жизни не получилось, ну а портреты вождей – досужая выдумка Куприна.

Бальмонту не оставалось никаких надежд. И он это понимал.

Отшумели, как в сказке, погони,  
Больше нет мне вспененного бега.  
Где мои раскаленные кони?  
У какого далекого берега?..

Константин Бальмонт умер 23 декабря 1942 года в Нуази-ле-Гран, в русском общежитии, устроенном матерью Марией. Похороны были грустные. Из оккупированного Парижа никто не смог приехать. Шел дождь, и когда опустили гроб в яму, наполненную водой, он всплыл, и его пришлось придерживать шестом, пока засыпали землей могилу. На надгробии по-французски написали: «Constantin Balmont, poete russe».

Итак, ни поэтов, ни поклонников при прощании с Бальмонтом не было. Он, очевидно, предчувствовал подобный финал и в одном из своих последних стихотворений обратился к тем, кто его любил и знал:

Дети солнца, не забудьте голос меркнувшего брата,  
Я люблю вас в ваше утро, вашу смелость и мечты.  
Но и к вам придет мгновенье охлажденья и заката.  
В первый миг и в миг последний будьте,  
будьте как цветы.

Он и сам был экзотическим человеком-цветком. На всю Москву прославился своими чудачествами, хождением в пальто и шляпе по лунной дорожке по морю, лазанием по деревьям для чтения своих «лепестковых стихов»... А его оригинальные отношения с женщинами... Много чего можно вспомнить и рассказать. А уж прочесть!.. «Чуждый чарам черный челн...». Это, можно сказать, почти «Черный квадрат» Казимира Малевича. «Черный челн» – это еще и ладья Харона, перевозящая мертвых через Стикс...

Но давайте отметим другое. Бальмонт был великим тружеником, он не ждал вдохновения или «посещения музыки», он писал регулярно, по много часов каждый день, всю жизнь, и писал с необыкновенной быстротой. Книги он любил как живые существа. Его творческое наследие огромно.

И в заключение «Слово о Бальмонте», которое принадлежит Марине Цветаевой:

«Бальмонт – помимо Божьей милостью лирического поэта – пожизненный труженик.

Бальмонтом написано: 35 книг стихов, т. е. 8750 печатных страниц стихов.

20 книг прозы, т. е. 5000 страниц, – напечатано, а сколько еще в чемоданах!

Бальмонтом, со вступительными очерками и примечаниями, переведено:

Эдгар По – 5 томов – 1800 стр.

Шелли – 3 тома – 1000 стр.

Кальдерон – 4 тома – 1400 стр.

...И еще *многое* другое.

В цифрах переводы дают более 10 000 печатных страниц. Но это лишь – напечатанное. Чемоданы Бальмонта (старые, славные, многострадальные и многословные чемоданы его) – ломятся от рукописей. И все эти рукописи проработаны до последней точки.

...Бальмонт, по его собственному, при мне, высказыванию, с 19 лет – “когда другие гуляли и влюблялись” – сидел над словарями. Он эти словари – счетом не менее пятнадцати – осилил и с ними души пятнадцати народов в сокровищницу русской речи – включил.

...Мы все ему обязаны».

## Куприн: белый поручик, писатель, эмигрант, возвращенец

**Александр Иванович Куприн (1870, г. Наровчат Пензенской губернии – 1938, Ленинград).** Прозаик.

«Куприн был настоящий, коренной русский писатель, от старого корня, – вспоминала Тэффи. – Когда писал – работал, а не забавлялся и не фиглярничал. И та сторона его души, которая являлась в творчестве, была ясна и проста, и компас его чувств указывал стрелкой на добро. Но человек был вовсе не простачок и не рыхлый добряк. Он был очень сложный.

Жизнь, в которую его втиснула судьба, была для него неподходящая. Ему нужно было плавать на каком-нибудь парусном судне, лучше всего с пиратами. Для него хорошо было бы охотиться в джунглях на тигров или в компании бродяг-золотоискателей, спасти погибающий караван...

Внешность у Куприна была не совсем обычная. Был он среднего роста, крепкий, плотный, с короткой шеей и татарскими скулами, узкими глазами, перебитым монгольским носом. Ему пошла бы тибетейка, пошла бы трубка...» (*Н. Тэффи. Моя летопись*).

Куприн учился в Московском кадетском корпусе и Александровском военном училище. Служил. В 24 года вышел в отставку в чине поручика. Несколько лет скитался, меняя

города и профессии. Повидал и понюхал жизнь.

Далее писательство. В первых рассказах – сочувствие «меньшому брату» (солдату, мужику, рабочему). В повести «Олеся» Куприн воспел природу. В 1925 году из Парижа писал на родину: «Если бы мне дали пост заведующего лесами Советской республики, я бы мог оказаться на месте...»

Поначалу все складывалось более чем хорошо. Даже отлично. Прекрасные рассказы и повести: «Белый пудель», «Поединок», «Гамбринус», «Суламифь», «Гранатовый браслет» и т. д. А еще «Яма» в которой писатель поставил цель – помочь обществу очиститься от язвы проституции, считая ее «еще более страшным явлением, чем война, мор и т. д.». Вышло полное собрание сочинений Куприна аж в 11 томах.

К Куприну пришли и слава, и деньги, и у него закружилась голова. Репортеры желтой прессы обожали Куприна за его кутежи и скандалы. По двум столицам гуляла шутка: «Если истина в вине, то сколько истин в Куприне?»

Гулял и пил Куприн, как говорится, без просыпа. Утро начинал с шампанского, а завтракал с водкой. Обожал гнать лихачей и устраивать пиры в ресторанах – в «Норде», «Капернауме», а особенно в «Вене» на углу Гоголя и Гороховой.

Ах, в «Вене» множество закусок и вина.

Вторая родина она для Куприна, —

так кто-то из сатириков написал о писателе. А он тем вре-

менем гулял напрапалую с цыганским табором и устраивал в пьяном виде дебоши, однажды даже бросил пехотного генерала в бассейн (это случилось в ресторане «Норд»).

Первая жена Куприна – Мария Давыдовна, впоследствии Иорданская, пыталась остановить и образумить писателя, но не смогла. Это удалось второй жене – Елизавете Гейнрих, незаконной дочери Мамина-Сибиряка. Она стала пестуньей и целительницей Куприна. Как вспоминает одна мемуаристка: «Совсем не пить он уже не мог, но от сплошного, дикого пьянства она его отвела».

В 1918–1919 годах он работал в созданном Максимом Горьким издательстве «Всемирная литература». Жил в собственном особняке в Гатчине, а потом в Гатчину пришли белые войска, и Куприн стал редактировать газету, издаваемую штабом армии генерала Юденича.

Гражданская война с ее жесткостью (с обеих сторон), разрушающей традиционный уклад русской жизни, возмутила Куприна. В октябре 1919 года он сначала уехал в Финляндию, потом – в Париж и 17 лет пробыл в эмиграции.

Вдали от родины Куприн продолжает работать. Создает очерки о Франции, повести «Колесо истории» и «Жанета», автобиографический роман «Юнкера». «Я хотел бы, – говорил Куприн своему знакомому по Парижу Юрию Говоркову, – чтобы прошлое, которое ушло навсегда, наши училища, наши юнкеры, наша жизнь, обычаи, традиции остались хотя бы на бумаге и не исчезли не только из мира, но даже из

памяти людей. “Юнкера” – это мое завещание русской молодежи...»

Практически все произведения Куприна эмигрантского периода пронизаны ощущением грусти по уходящей России, исчезающей русской культуре.

Жилось Куприну несладко. «Знаменитый русский писатель, – вспоминал коллега по перу Николай Роцин, – жил в великой бедности, питаясь подачками тщеславных “мecenатов”, жалкими грошами, которые платили хапуги-издатели за его бесценные художественные перлы, да не очень прикрытым нищенством в форме ежегодных благотворительных вечеров в его пользу».

Сам Куприн о своей эмигрантской жизни писал:

«Жилось ужасно круто, так круто, как никогда. Я не скажу, не смею сказать – хуже, чем в Совдепии, ибо это несравнимо. Там была моя личность уничтожена, она уничтожена и здесь, но там я признавал уничтожающих, я на них мог глядеть с ненавистью и презрением. Здесь же она меня давит, пригибает к земле. Там я все-таки стоял крепко двумя ногами на моей земле. Здесь я чужой, из милости, с протянутой ручкой. Тьфу!»

Своему приятелю беллетристу Борису Лазаревскому жаловался из Парижа в письме от 10 сентября 1925 года (и, как обычно, с применением ненормативной лексики):

«...Здесь скверно, как нигде и никогда еще не было. Кормят плохо. Есть некого. Выпить не с кем. Что за город, ес-

ли на вопрос: “Есть ли у вас бляди?” собираются извозчики, трактирщики, почтальоны, гарсоны и даже встречные молодые и старые... И вот уже месяц ни слова по-русски! От этого такое ощущение, будто бы у меня рот заплесневел...»

Один из современников вспоминал о Куприне как эмигранте:

«Куприна безбожно обкрадывали, перепечатывали, не платя ничего, платили гроши за переводы, писали пошлейшие предисловия к его книгам. Куприн нуждался, ходил в рваных башмаках и не всегда сытый. На беженском тесном возу все перепуталось, уравнилось, снизилось. Куприн был “свой человек”, эмигрант. Куприна похлопывали по плечу...»

Во Франции с каждым днем чахла некогда богатырская сила Куприна, уходило здоровье, все хуже видели глаза. Все подошло к горлу, и надо было что-то предпринимать. В середине 30-х годов Куприн, повстречав Андрея Седых, сказал ему:

– А знаете, я верю, что умирать уеду в Россию.

– С чего это вы, Александр Иванович?

– Уеду, и вот когда-нибудь в Москве проснусь и вспомню этот бульвар, эти каштаны, любимый и проклятый Париж, и так занует душа от тоски по этому городу!

Но в Париже было худо и мысль о возвращении не оставляла, и Куприн решил вернуться на родину, вслед за Алексеем Толстым, но при этом Куприн сказал: «Уехать, как Тол-

стой, чтобы получить “крестики иль местечки” – это позор, но если б я знал, что умираю, что непременно и скоро умру, то и я бы уехал на родину, чтобы лежать в родной земле».

Так и случилось. Он уехал, точнее, его увезли.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.